

Геннадий
Прашкевич



БОЛЬШИЕ
СНЕГА

Геннадий Прашкевич

Большие снега

«Автор»

Прашкевич Г. М.

Большие снега / Г. М. Прашкевич — «Автор»,

Избранные стихи. В этой книге легко обнаружить и вполне классические, даже постакмеистические стихи, и формальные, в лучшем смысле слова, эксперименты, идущие от русских футуристов, и утонченный верлибр, и восточную минималистичность, и медитативные погружения в историческое и мифологическое пространства, характерные для поэзии балканских стран.

© Прашкевич Г. М.

© Автор

Содержание

Вместо вступления	5
Азия	8
Дева-обида	9
I	9
II	20
Возвращение	20
III	22
Русь давняя	38
Спор с дьяволом. Посвящения	44
I	44
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Геннадий Прашкевич

Большие снега

(книга избранного)

Лиде

Вместо вступления

Писать о Геннадии Прашкевиче – дело непростое.

Каждая ипостась его таланта заслуживает отдельного разговора.

Судите сами: неутомимый путешественник, исколесивший добрую часть земного шара, знаковая фигура отечественной фантастики, автор интереснейшей реалистической, исторической, детективной прозы. А еще блистательный эссеист, историк литературы, литературный критик, диапазон профессиональных интересов которого поражает: от одного из лучших исследований ранней советской научной фантастики («Малый бедкер по НФ»), до таких известных книг, как «Адское пламя» и «Красный сфинкс». А еще он тонкий переводчик болгарской и корейской поэзии. Ему принадлежат замечательные переводы стихов таких известных поэтов, как Владимир Башев, Михаил Берберов, Любомир Левчев, Иван Цанев, Стефан Цанев, Мила Доротеева и других, – в 1982 году в Западно-Сибирском книжном издательстве вышел целый том современных болгарских поэтов («Поэзия меридиана роз») в переводах Геннадия Прашкевича. Наконец, он один из ярчайших и самобытнейших поэтов современной России.

Думаю, что Геннадий Прашкевич и сам не сможет ответить, какая из его ипостасей главнее, слишком тесно они переплетаются; одно вытекает (или истекает) из другого. Но поэтическое мышление наложило отпечаток на всю прозу писателя, на всю его эссеистику. Это важный момент. Многие прозаики в России пишут (или пописывают) стихи, а многие поэты пишут прозу. Иногда (как, например, с Вадимом Шефнером) бывают точные попадания. Что касается Геннадия Прашкевича – он поэт от рождения.

*Денежки кончились в наших смешных кошелечках.
Палой листвой обнесло все питьевые точки.*

*Осень приблизилась, альфа нисходит в омегу.
Если и быть, то всего лишь печальному снегу...*

Непересказываемостью, неподатливостью другому (не родному) языку поэзия, собственно, и отличается от прозы. Иной уровень сознания, иное, сдвинутое восприятие реальности. Есть огромное число вполне профессиональных стихописцев, выучившихся грамотно подбирать рифмы, многие из них даже попали в учебники, но вся беда в том, что стихи их к Поэзии не имеют никакого отношения – это всего лишь та самая пресловутая проза, лишь по недоразумению записанная в рифму.

Повторюсь: настоящие стихи невозможно переложить на прозу.

При этом неважно, каким размером они написаны – ямбом или распатанным дольником, или вовсе лишены какого-то очерченного размера, даже рифмы. Стихи – всегда сами по себе.

Илистые прыгуны возятся в водах отлива,

*Малаккский пролив придавлен тысячетонной жарой,
в небе беззвучном оранжево-огненный рой —
атомный взрыв, прожигающий чрево мира...*

*Боже, как странно, как долго стоят года,
сердце сосет злая рыжая дымка,
если тут что-то и движется,
то, конечно, только вода — тысячетонная невидимка...*

Или этот верлибр:

*Я — как ветка.
Имею собственные колебания,
а раскачиваюсь вместе с деревом.*

*Боюсь однажды увидеть
отрубленную ветку
или голое дерево.*

Стихи Геннадия Прашкевича версификационно совершенны. Они виртуозны, отточены. Не знаю, как относится Геннадий Прашкевич к творчеству Леонида Мартынова, но мне всегда казалось, что мартыновский стих близок ему — не только виртуозной техникой, но самым духом.

*Дым из труб,
а тропа снежная.
Нежный и грубый,
но больше нежный,
я прихожу в незнакомый дом,
в дом, где мне каждый угол знаком...*

Для меня, давно пытающегося в душе примирить поэтические традиции классики и авангарда, особую привлекательность лирике Геннадия Прашкевича придает ее открытость. В этой книге легко обнаружить и вполне классические, даже постакмеистические стихи, и формальные, в лучшем смысле слова, эксперименты, идущие от русских футуристов, и утонченный верлибр, и восточную минималистичность, и медитативные погружения в историческое и мифологическое пространства, характерные для поэзии балканских стран. Но главным все равно остается то, что стихи Геннадия Прашкевича — это подлинная Поэзия, чистая, искренняя, снежная, мудрая.

*Женищины,
которых мы покидаем внезапно,
совсем внезапно, даже не по своей вине,
остаются не в прошлом, а в некоем странном завтра,
как портрет, что выставлен за стеклом в окне.*

*Города,
которые мы оставляем сразу,
именно сразу, мучаясь и себя кляня,*

*остаются всегда тоской и вечной заразой,
в бездне грохота и огня.*

*И чего удивляться, что осень красит
за окнами небо, бесцельно и зло маня.
Остается лишь память,
и позолота слазит
с женщин и с городов,
но, прежде всего,
с меня.*

Ну, вот, не удержался – процитировал полностью.
Просто очень люблю это стихотворение.

*Евгений Харитонов,
Москва, 2007*

Азия

Зарницы. Ущелья. Тени в ущельях. Зарницы.
Вновь Азией зачарован, смотрю на немые вспышки.
Я люблю тебя, Азия, как любят пропасть, обрывающую все
страдания,
И ненавижу, как ненавидят любовь, обрекающую на беды.

Но чувства эти несложны.

Восхищенья хочу!
Аритмичность. Зло. Истина. Яд.
Что стоит за вспышкой, развернутой на полнеба?
Боль затерянных троп, убиенных культур, уничтоженных
поселений?
Радость диких коней, грохот тяжких копыт на гранитных
развалах?

Азия!
Губы твои не стираются от поцелуев.
Моря твои не становятся тише.
Горы твои не становятся ниже.

Годы проходят, но – азиат! —
иду к твоим мутным клокочущим рекам,
припасть к их воде, чтоб восстать человеком,
который азийскому равенству рад.

Конь, что спасает.
Женщина, что утешает.
Звезда, что ведёт.

Дева-обида

I

* * *

Промолчит лес,
промолчит снег,
промолчит грусть.
Не дойдет весть,
пропадет след,
будет лес пуст.
Будут снег, наст,
звездопад глаз,
белый дым из труб.
У тебя гостят,
у тебя грустят,
и хотят губ.

По лесам снег,
по глазам снег,
снегопад рад.
Потеряв след,
берега рек
сберегут клад.
Тебе всё простят,
тебя все простят,
и – меня прости.
У тебя гостят,
у тебя грустят,
мир в твоей горсти.

* * *

Тишина не ушла.
Тяжелее ста гирь,
навалилась, дыша на подушку, Сибирь.

Возвращалась с охоты
и застала меня.
Я не думал, что кто-то мог бояться огня.

Оказалось, возможно.
Нет правдивых начал,
если начал со лжи, а потом промолчал.

Окружила Сибирь,
а седая метель
ночь истерла до дыр и продула сирень.

Но сирень, как боец,
свою жизнь отстояла.
Я не верю в конец, если было начало.

* * *

Мои самые стихи – это снег, снег.
А потом, когда он стих, только след, след,
по которому ищу – это ты шла.
Не заметила лису.
И ушла.
Жаль.

Это рано поутру белых звезд блеск,
это дрожь на холоду, и пустой лес.
Это снег в моей горсти, и следы лыж,
деревянные мосты
и коньки крыш.

Мои самые стихи – это твой смех,
а потом, когда он стих, голубой снег.
И ресницы на ветру, блеск глаз,
и седая поутру
на ветвях вязь.

Все отбеливает снег, даже стих бел.
Бел и ясен каждый след, как сухой мел.
И нельзя тебя не ждать, бел и прост век.
А над ним твоя звезда —
снег...
снег...

* * *

Допросились, ветер студит
землю, прыгая с берез,
и березы, будто люди,

унижаются до слез.

Ах, как дует по ущелью,
ах, как дует и метет! —
голубые лапы елей
превращая в хвойный лед.

А на небе, небе стылом,
первобытном, как снега, —
облака, как балерины,
как танцовщицы Дега.

* * *

А снег летит туманно и беспомощно,
листву и ветви слабо теребя,
а я зову, прошу тебя о помощи,
мне страшно:
я опять люблю тебя.

Мне страшно, что опять летит в смятении
лохматый снег, а я его ловлю
и повторяю в белом наваждении:
мне страшно:
я опять тебя люблю.

* * *

Запястья хрустнули,
в сухих глазах
немного грусти,
немного зла.

На теле руки свести?
Не гнутся.
Щитом разлуки
звения, вернуться?

Но скажешь: «Было
такое дело.
Потом забыла.
Потом запела.
Металась ласточкой
за словом каждым».
«И очень часто так?»

«Теперь неважно».

Теперь не встретимся.
Прощай. Не жди.
Иду по лестнице.
Дожди...
Дожди...

* * *

Дым из труб,
а тропа снежная.

Нежный и грубый,
но больше нежный,
я прихожу в незнакомый дом,
в дом, где мне каждый угол знаком,
где мне говорят: «Ну, как? Поостыл?»
Я не остыл. Я просто простыл.
Я изучил от доски до доски
комнату, где шелестят сквозняки,
комнату, где прокурен насквозь
каждый проржавленный рыжий гвоздь...
Мне говорят: «Успокойся, поэт.
Обидами полон белый свет».

Но кто же увидит, что в сердце моем
Дева-Обида играет копьем?

* * *

Холод трогает суставы
и кружится голова,
а на стеклах прорастает
непонятная трава.

Но реальнее растений
и сумятицы в крови
моментальные, как тени,
руки тонкие твои.

Пусть в глухой неразберихе
нужный жест не оценён,
за окном бело и тихо,
там пушной аукцион.

Там следят паркет истертый
башмаки смещенных лиц,
а в канавах тонут гордо
отраженья нищих птиц.

Там стареют почтальоны,
телеграммы разнося,
восседает ночь на троне,
фонарей лучи гася.

Там почти неуловима
разница: минута... век...
Но оттуда твое имя
нашептал мне белый снег.

* * *

Обещают: сломишь шею!
Я верчусь, как юный бес.
Но предчувствие крушений
неуклонно гонит в лес.

Сосны давят рыжей грудью
и стеной встают кусты.
Известковое безлюдье,
ледниковые мосты.

Я герой холста немого,
я почти неуловим.
Ухожу, но снова, снова
рвусь сквозь ясный белый дым.

Только стелется морозный
след мой – вечное кольцо,
да стеклянные занозы
раздирают мне лицо.

* * *

Лунный круг. Дорожки света.
Сосны. Снег. Тропа. Следы.

Я не знаю, чем согрета,
чем обрадована ты.

Затаился белый север
в тишине холодных гряд.

И снежинки равномерно
вьются, мечутся, летят.

И, мерцая, без ответа
на меня звезда глядит.

Лунный круг. Дорожки света.
Сосны. Снег. Тропа. Следы.

* * *

Отплясывает
вынужденный твист
крутящийся под ветром желтый лист.

Каратами
расчислены молитвы,
как карты, передергиваю ритмы.

Гроза запаздывает,
как нелепый фокус,
в глаза заглядываю, слушаю твой голос.

Роса по пальцам
шариками бродит,
глаза печалются и в сторону уходят.

Но небо слышит, верует и видит:
вчера не вышло —
сегодня выйдет!

* * *

Душный день, а потом – телеграмма, но рано
говорить о неведомо близком и странном.

Пусть в зеленых потемках дымит сигарета,
все равно я, наверное, завтра уеду.

И в кустах,
по мостам,

в перелесках,
в лесу
зааукает эхо
не в такт колесу:
«Так не делают! Зря! Позабудь!» Но заря
вдруг осветит мой путь и согреет меня.

А на влажном песке,
как на белом панно,
будет след, будто пролито было вино.

И такой же неясный обманчивый след
эхо жизни
проухает
глухо
в ответ.

Астериск

Преломляются лучи света,
в острых гранях, как огонь, блещут.
Замечательная вещь – лето,
замечательно любить вещи.

Над водою рыжий лист кружит,
нет в душе ни тоски, боли.
От восторга и любви ужас
проступает, как налет соли.

Солнце пляшет на углах камня,
разбиваются лучи света.
Это долгая, как век, память,
это краткое, как час, лето.

И сгорает в яростном сонме,
падает, как в каменоломню,
эхо дальнее:
помни... помни...
отзвук, бьющийся:
помню... помню...

Море. Утро

Темно.
Трава.

Фигуры пней.
Вопит сова,
а вслед за ней
вопят опять:
«Опять полпятого!»

Ночь стынет в листьях, а я иду,
и тонким свистом
зову сову.

Шныряют тени, как кошки ночи.
Я верил этим слепым пророчествам
и вышел
к морю.

Шуршащим следом
песок тревожу,
а море бредит
о лунных грошах,
и на причале
живет печаль.
Волна качает плечами тали,
раскинув всюду
свою вуаль.

Скользя по гальке
смоленным днищем
большие лодки
скрипуче дышат,
а куст рябины
не опалим.
Во тьме маячат,
как свечи, мачты,
туман, как дым.

Я возвращаюсь.
В лесу опять
вопят:
«Полпятого!
Опять полпятого!»

В проливах ночи
я шел без лота.
Ну что ж,
Допустим...

Я заработал
немного грусти.

Море. Ночь

Вызвездило.
Снега хруст.
Пригвоздило
тенью
куст.

Берег моря. Лед и снег.
Верю, чуден человек.
И от мысли этой светлой
знаю – скуки в мире нет.

На снегу
черный след.
Берегу
твой ответ.
Он неясен,
но я знаю —
мир прекрасен!
И как в мае,
я зареюсь,
как в листву,
в твою жизнь,
в твою судьбу.

Вызвездило.
Снега хруст.
Пригвоздило
тенью
куст.

Я мечту нашу большую
берегу на берегу.

* * *

На склоне стольких лет
пращей в ответ: «Прощай!»

Единственный совет:
«Забудь! Не приезжай».

По рощам стелет след
пороша,

вороша
заезженный портрет
замерзшего дождя.

А ветер злобно бьет
в стеклянные зрачки,
где намерзает лед
обидных слов и притч.

И под твоей рукой,
от боли завизжав,
калитка мнет покой,
тоскою сумрак сжав.

И спазмы горло жгут
резиновым жгутом.
И все-таки я жду:
вдруг снег пройдет дождем,
вдруг ветер вкось влетит
в оцепеневший сад
и сразу прекратит
метельный
снегопад.

* * *

На дворе дворники
говорят: «Снега...»
Этот древний спор никак
опять о двойниках.

А снега прозрачны,
а снега призрачны.
Шелестят о счастье
звезды светом призм ночных.

Кто я? Вестник чьих
слов? Как отвечать?
На площадках лестничных
страшно встречать

тень твою и спрашивать:
по какой причине
сумерки донашивают
черные личины?

О весенних лужах

думать не хочется.
Только снег нужен
ветром всклокоченный.

Средь снежинок звездных
нахожу звезду мою,
о которой в грозные
только ночи думаю.

* * *

А она говорила: «Плохо...»
и хотела плохой казаться.
Даже снег почернел, как порох,
от подобного святотатства.

Говорила: «Не жди последствий,
ах, пора тебе измениться!»
А проверили – это детства
бьют серебряные копытца.

На поверку все мы иные,
удивляемся больше сами:
почему вдруг пути кривые?
почему вдруг чужие сани?

Но ошибки, конечно, наши,
потому что под небесами
в сани судеб мы не посажены,
а садимся всегда в них сами.

II

Возвращение

Наследник Гумилева и Ахматовой,
в лесу, где тропы выбиты сохатыми,
под крышей деревянного сарая
лежал я, ничего не понимая.

Махорочные струи, извиваясь,
в небритую щеку меня лизали,
и плавали, густые и бесшумные,
как плавают меж сосен тени лунные.

«Тяни, братишка!» – требовали плотники,
друзья мои, герои и колодники,
все видевшие, знавшие, умевшие
и за год мне до смерти надоевшие.

Я пил малину с водкой, и, отчаясь,
все это запивал грузинским чаем,
и хлеб жевал с привычным отвращением, —
о, только бы приблизить возвращенье!

Как долго от тебя ни слов, ни писем!
Как подлю мне сквозняк тебя расписывал!
Как нудно шелестели снегопады,
свершая свои мутные обряды!

Я засыпал с дымящей сигаретой,
и в сны мои врывался темный ветер,
злорадствовал: теперь не отыгаться,
не дотянуться, не коснуться пальцев,
губами на ночь перечтя ресницы,
когда тебе задумчиво не спится.

Но хуже, было хуже, когда жалость
в ночные сны непрошено являлась,
юродствовала, плакала, просила:
«Осина умирает некрасиво,
раскинув растопыренные лапы,
дрожа и задыхаясь на лету;
ты хочешь повторить ее паденье? —
мне жаль тебя. Решайся. Из деревни
к друзьям, к стихам, и к ждущей иль не ждущей,
решайся,

и тебя я уведу!»

...а за окном дробились и кололись
розеточки мерцающих снежинок,
и стыли на заборах злые пятна
замерзшей человеческой мочи.

Над речкой, окруженной, будто глетчер,
моренами берез и стылых кедров,
бесшумными каскадами струился,
синел и испарялся лунный свет.

В его глубоких ласковых разводах
мелькали тени – призрачно, прозрачно —
и так же непонятно исчезали,
чтоб снова появиться над рекой.

Над лесом поднималась крыша школы,
в которой ничему нас не научат,
но в окнах школы билось злое пламя —
впервые посмотреть на этот мир.

Под вечер дымкой покрывало снежной
дома, дороги; уходя на берег,
я видел камни, между ними билась
и клокотала черная вода.

Криноидей сияющие сколы
песчаник светло-серый испещряли,
как буквы, – те, что ты не нашептала, —
они остались в камне навсегда.

Я вырвался. Но что теперь мне надо?
Улыбку? Шепот? Ласковые руки?
Иль вечное терзание работы?
Не знаю...

III

* * *

Воеет ветер,
снег струится,
в синем свете вьюга злится,
расползлась над миром мгла,
чистит ветер, как метла, —
мир.

Снег струится,
белый снег
рвется птицей много лет
на стеклянные просторы,
где поют, лучатся хоры —
звезд.

И прозрачным
белым снегом
все невзрачное отпето,
и звенит, гудит часами
под глухими небесами —
вьюга.

* * *

Я много лет скитался
в краю сухих белил,
обламывая пальцы,
тропу свою торил,
и там, где низкий берег,
под шапкою лесов,
стрелял пушистых белок,
и грелся у костров.

Единственный хозяин,
закон тайги я знал:
ловушек зря не ставил
и зверя уважал,
но снег ложился густо,
стелил тропу мою,
и было пусто-пусто,

и грустно, как в раю.

* * *

Согрели плоские бока никелированные лужи
и день течет, как облака, невероятно сжат и сужен.

А в дымном хаосе берез, меж вздорных высохших сережек
еще живет смятенье рос и заблудившихся дорожек.

И я когда-то их топтал, искал, надеялся и верил,
что встречу среди рыжих скал седого сказочного зверя.

Возьму руками, без свинца, не зря ведь чтил я Гагенбека.
Но у дорожек нет конца, а зверь бежит от человека.

* * *

Наваждения исчезли,
как далекое окно,
за которым были песни,
а сейчас совсем темно.

Я вернулся, я вернулся
в город, темный от дождей,
в город очень узких улиц
и высоких этажей.

По аллеям мокрым шляюсь,
это снова детства дни,
ничему не удивляюсь,
чем меня ни удиви.

Но, приглядываясь к лицам,
все тяну, тяну, тяну
тот момент, когда ресницы
нарушают
тишину.

Перед дождем

О, за мгновение, пока

в мои глаза летела капля,
я прожил жизнь — любил и плакал,
и видел дождь и облака.

Но капля пала на глаза
и вновь я тронут тайной жуткой:
как уместилась жизнь моя
в таком коротком промежутке?

* * *

Мой тополевый Томск —
томительная пристань,
текущая, как воск,
бегущая, как выстрел.

На площадях твоих
я плыл, как на триreme,
среди дождей густых,
остановивших время.

И за твою печаль,
за тайные вечера,
спасибо, мой причал,
скрипучие качели.

Спасибо за метель,
за то, что гнал по свету,
за руки тополей,
салютовавших свету.

Август

В удаляющемся свисте,
как ударил карабин,
воздух в шорохах и листьях
облетающих рябин.

Влажной лапой гонит тучи
ветер прямо над рекой.
Я держу в руках, как случай,
свой нечаянный покой.

Я давно уже не чаял
так смеяться, так любить,

жечь костры, бродить ночами,
не вино, а воздух пить.

И пускаться без оглядки
по течению реки,
по которой щеткой гладкой
волновались тростники.

А надежды и записки
оставлять в сухом дупле.

Август.
Звездчатые искры.
И томление
полей.

Масштаб

От древнего кургана
до гиблого болота;

от чайного стакана
до чаши с позолотой;

от томского забора
до стен горячей Кушки;

от Домского собора
до крошечной церквушки;

от розы искушения
до прозы из трактира;

от мироощущения
до ощущения мира.

* * *

То ль мираж, то ли впрямь олень,
и опять до небес пустынно.
Я иду. Рядом только тень.
На увалах базальты стынут.

Кочки,
Камни,

глухие мхи,
да озера чернее сажи.

Так и входят в мои стихи
эти северные пейзажи.

Дом на песках

I

Разносит ветер легкие песчинки
и нарушает мировой покой.

Два взрослых человека строят дом.

Сухой плавник, окатанная галька,
скоба из меди – все им пригодится.
Два взрослых человека
строят
дом.

Потом их остановит поцелуй.
Их дом оставлен, он забыт, заброшен.
Никто из них не мудр, не осторожен,
никто не озаботится судьбой,
никто не вздрогнет —
кто там дразнит чаек?
зачем весь мир, весь этот разнбой?

И счастье, с тех иллюзий начинаясь,
становится, увы, самим собой.

II

Но дом еще не дом, пусть даже кровлю
и стены ты поднять над миром смог.
Ты должен жить удачей и любовью
и женщину внести через порог.

Чтоб все, что было временно и ложно,
ушло, как исчезают боль и страх...

III

Ведь это же неправда, что возможно
нам счастье только в доме на песках.

* * *

Египетский суфлер
не подсказал ни строчки.
Прозрачные, как флер,
зеленые сорочки
не скроют тех, кто гол,
как рощи после пала.

С плеча на голый пол
упало покрывало,
и толпы враз орут,
увидев, меж цветами
танцовщицы идут,
играя животами.

Перегорит звездой,
сияющей без дела,
сведенное тоской,
как судорогой, тело,
но взмахами ресниц
оправданы обиды
отчаявшихся жриц
под тенью пирамиды.

* * *

Женщины,
которых мы покидаем внезапно,
совсем внезапно, даже не по своей вине,
остаются не в прошлом, а в некоем странном завтра,
как портрет, что выставлен за стеклом в окне.

Города,
которые мы оставляем сразу,
именно сразу, мучаясь и себя кляня,
остаются всегда тоской и вечной заразой,

в бездне грохота и огня.

И чего удивляться, что осень красит
за окнами небо, бесцельно и зло маня.
Остается лишь память,
и позолота слазит
с женщин и с городов,
но, прежде всего,
с меня.

* * *

Я научился просыпаться рано,
когда еще не ноют в сердце раны,
когда еще сороки не проснулись,
и тянет тишиной с пустынных улиц.

Я научился радоваться дому,
твоей ладони, шороху на крыше.
Я научился радоваться грому,
особенно, когда он плохо слышен.

Я научился говорить как птица,
скрывать печаль, невидимое видеть.
Немногому осталось научиться:
с такой же силой знать и ненавидеть.

* * *

Я оплатил бы все разлуки,
все слезы, всю печаль ночей,
все звезды, шорохи и руки
и шепот – тайный и ничей,

но дождь разводит всюду слякоть
и продолжает голосить,
что я могу это оплакать,
оплакать,
но не оплатить.

Слово

И опять надо мною, исторгая тепло,
удивленное Слово, как Солнце, взошло.

То же самое, коим мы веками живем,
обещаем и поим, изумляем и жжем.

И которому слишком доверяться спешим,
забывая про искры и клубящийся дым.

А оно – не подкова, не туман идиом.
Это древнее Слово дал Охотник с Копьем,

на века его сделав для Войны и Добра
вместе с первою Евой – из мужского ребра.

Иней

Вчера было лето. Вчера было солнце в долине.
Сегодня прогретые камни ложатся под иней.

И пахнет так странно, как будто открыл я впервые
цветение плавных ветвей наклонившейся ивы.

Все небо в заплатах, все небо заштопано серым —
от низких закатов до белых сияющих перьев.

Как будто Земля обрела вдруг былые надежды
и сбросила к черту браслеты, сережки, одежды.

И всюду сияет тревожно, зовуще и бело
ее обнаженное, ждущее, плотное тело.

Полдень

Ю.П.

Дым костра разметало ветром
и печальный таежный дрозд
мне вещает о километрах,
отделивших меня от звезд,
и плывут среди рыжих сосен,
над упругой щетиной мхов,
ароматы таежных весен,
можжевельников и стихов...

Тишина. Только где-то эхо
на вершинах гудит сухих,
да заходятся дальним смехом
непутевые петухи,
да клубится в пыли дорожной
над славянской вязью полей
удивительный и тревожный
серебристый пух тополей...

Сказка о тишине

Когда вечерами плещет
простуженная волна,
нужны ненужные вещи,
придуманные слова.

И мы говорим о всяких
таинственных пустяках —
о белоснежных маках
и голубых слонах.

Гадаем неосторожно
и чувствуем – это к нам
по лунным спешит дорожкам
Бегущая по волнам.

Но зная, что только сами
мы можем себе помочь,
уходит, кивнув на память,
спасать уходящих в ночь.

Раздвинув цветные звезды,
с неба смотрит Луна.
Все чрезвычайно просто,
как воздух и тишина.

Туманные тают полосы
и берега молчат.
Я лучше скажу вполголоса,
о чем другие кричат.

* * *

Придумали – расставания.
Как стрелы слова нацелены:

*О, бедра твои поставлены,
как амфоры драгоценные!
Кожа вина нежнее,
нет взгляда чище и строже...*

А все во сто раз сложнее
и в столько же, верно, проще.

Кошунствуй, люби, пророчествуй,
никто не наделит санкцией
вернуть ее, если хочется
назад, с полпути, со станции.

Пора листопадов канула,
всю ночь за стеклом оконным
шуршат по садам стеклянным
пушные аукционы.

* * *

Когда мы увиделись, все отошло
куда-то на самые дальние планы.
Кружились деревья, плескалось весло,
ромашки летали вокруг, как воланы.

А праздник вовсю прорастал из земли,
он рвал голубые клокастые почки,
листву выгонял и пускал пузыри,
и скатывал громы, как гулкие бочки.

Цветной и огромный, он все разбудил
медведем, добившимся лета и нерпы.
И мы понимали: он брал, не дарил!
Он праздник!
А мы —
его первые жертвы.

* * *

Почти случайные слова,
почти случайное движение,
звезда, осенняя трава,
листва, как головокружение.

Почти случайный разговор,
случайный дождь, на лужах пена,
разор души, и слов разор,
и начинаешь постепенно

разгадывать и понимать —
капель, горящую иконно,
тот блик, что в руки не поймать,
и женщину в стекле оконном.

* * *

О, как ты боролась с большим моим ростом,
вставала на цыпочки, приподнималась,
и радугой нежных огней загоралась,
моля опуститься и сжалиться звезды.

Но что-то мешало, но что-то толкало,
какие-то грузы ложились на плечи,
слова не решались стать явною речью,
все путалось, плыло, томило, алкало.

О, как ты пыталась бороться со снами,
как плакала, пела, текла с облаками,
а лунные блики, стеклянно позвякивая,
в листве многоликой сияли над нами.

И что было проще? В тебе себя спрятать?
Остаться собою? Приблизить мороз?
Иль все же расти, чтобы падать и плакать?

Я падал и плакал.
И все-таки
рос.

* * *

О, эта деревня стоила всех чудес! —
лампа в окне, сугроб, в ночь — коромысло дыма.
Прямо в дворы вбегал мшелый и вечный лес.
Летом — печаль дождя,
осенью — запах тмина.

О, эта деревня стоила детских лет! —
тайны замшелых троп, гомон глухих речушек.

сколько имен, о которых не ведал свет,
сколько снегов,
вылетающих, как из пушек!

Годы идут, но там
лампа горит, маня,
ищет меня, зовет, теплится из потемок.
Может быть, до сих пор женщина ждет меня,
но броду нет на реке,
а лед над теченьем
тонок.

Гулёна

Село обиженно ворчит:
«Гулёна!»

А воздух к вечеру горчит,
как листья клена.
А воздух к вечеру, что тишь
тишайшей ночи.
Ты улыбаешься, не спишь,
не хочешь.
Твой голос тих,
твой голос чист,
твой волос светел.
И за окном твоим горнист
расправил плечи.
Он задыхается, поет,
а листья клена
дыханьем осени несет,
ведь ты —
гулёна.

Я знаю, чем я оплачу
наш август долгий,
когда дожди по сентябрю
вонзят иголки
в шары оранжевых рябин,
и в листья клена,
и в шёпоты твоих рабынь:
«Гулёна!»

* * *

В. Щеглову

О, затаи дыхание,
не опускай век.

Пламенем полыхая,
листья летят в снег.

Мерзлая ветвь не хрустнет,
нежная тишина.

Замерла в снежной грусти
найденная страна.

Замерли даже тени,
резкие, как ножи.

Зимнее вдохновение.
Белые миражи.

Ирбитская осень

У пассажа лужи
выглажены ветром.
Воробьиный ужас
на вершине кедра.

Желтыми полянами
над Ирбиткой плоской
ползают туманы
дымом папироски.

Тучи долгой стаей
тают над Ирбитом.
Отливают сталью
стекла, ливнем мытые.

И, сердясь, рывками,
ветер, прямо с неба,
трогает руками
желтую планету.

* * *

В долине семи осин —
осень. Осины в гневе.
Багровым огнем рябин
в небе седом немеют.
Желтый огонь ползет
просеками лесными.
Осень срывает, жжет
листья, и огневые
ползают облака.
Солнечными ланцетами
врезаны их бока
в память о жарком лете.
Чищено все, как есть,
рыжей кирпичной пылью.
Даже церковный крест
выштампован и вылит —
в шелест,
в сиянье,
в хруст.

Осень.
В багровом сонме
листьев
сгорает куст.

Пусто.
Прощай.
Помни.

* * *

Ко всему и ко всем
я тебя ревновал,
обмораживал сердце,
в аду побывал.

Шел по снежному следу,
задыхаясь и злясь,
все изведаль — неверие,
счастье и грязь.

Но чужого не трогал,
своего не хранил,
и, теряя дорогу,
вновь ее находил.

Никуда мне не скрыться,

и себя не забыть.

Мне пришлось покориться,
чтоб тебя покорить.

Ритм

Не птицы, так поэзия. Везде
находишь гнезда и седые перья.
Под крышами. На старой городье.
На вербах, что белеют сквозь деревья.

Стихи и птицы. Ритмом полонен
весь мир. Вещает вывеска в испуге:
«Приобретая разовый талон,
учитывайте платные услуги».

* * *

Непрозрачные витражи,
над фронтонами свет и тени.
Окна, улицы, этажи,
темный сонм голубых растений,

и идущий опять, опять,
полосующий стены зданий —
дождь, который нельзя понять,
не имея воспоминаний.

* * *

Снег над крышами летит,
притворяясь невесомым.

Над огромным,
мирным,
сонным
миром
снег с небес летит.

Он ложится на коньки,
на балконы, на крылечки.

В ночь дымят сто тысяч печек,
не видать во мгле ни зги.
Но по шороху, по тьме,
сквозь которую, как лоси,
ветер рвется, снег проносит,
слышно —
этот снег извне.

Ничего светлее нет,
чем снега, что в ночь упали.
Полночь, как на сеновале,
и небесный брезжит свет.
А потом – рассвет, лучи,
разгоняющие время.
Спят деревья, но не дремлет
снег, летящий из ночи.
Он летит густой-густой,
ослепительный и длинный,
очень древний, очень мирный,
и, как время, молодой.

Над угором, над ручьем,
над глубоким санным следом,
над безбрежным белым светом,
впереди и за плечом —
снег, огромный белый снег! —
нежно, медленно, упорно,
как мелодия из горна,
прямо в двадцатый первый век!

Он летит, летит, летит,
он взвивается, он вьется,
и, как песня, с неба льется,
и, как глас, с небес звучит:

«Будь прекрасен, Человек!
Будь, как утро, безупречен.
Мы проходим.
Время вечно».

Дым...
Снег...

1960–1971

Русь давняя (фрагменты)

И вечный бой! Покой нам только снится.
А. Блок

1

Широко раскинута лесами Русь.
Лапой зверя вынут, трепещет в пуще хруст.

В медном зеве колокола колотится язык.
Тревогою исколот дозоров переклик.

Дрожат в ночи осины, Под ними – след стад.
Темные трясины замедает листопад.

Плачутся капли дремучих рос.
Дом оброс крапивой, лебедой оброс.

2

Голос:

Не вели ходить мне, мати, в лес по ягоду.
Этот черный, словно тать, все подглядывал.

Знаю, ждет он, как намердн, притаясь за углом,
сам-то грубый, будто медный, губы углом.

Только выйду на полянку, где трава зелена,
молча, будто полонянку, бросит наземь меня.

Будет мять, валять, руками ворошить во мне огонь.
И судьба моя, как камень, в омут рухнет, только тронь.

Второй голос:

Слышу, слышу. Полон яду ветер. Ухают сычи.
Мне с тобою нету сладу.
Помолчи!

3

А рассвет занимается остро, дико и голо.
Как пожар разливается рев набата: «Монголы!»

Визг мохнатых наездников, вознесенные пики.
Над сломавшейся песней долгий выкрик: «Калмыки!»

Тянет прелью и чадом, и тяжелым угаром.
Шелест стрел над посадом, выдох горя: «Татары!»

4

И выгнув дугою брови,
губы сведя в судороге,
птицей заполонённой
билась. Чужие руки
вылюбили,
измучили
в крученом
и беспамятном
перегоревшем улье,
роем слепящим занятом.

И, оторвав, сразу
бросили вниз
в бездну.
Где.
Употевший.
Красный.
Дьявол.
Любил.
Невесту.

Запахом пота – плата,
ритм – маята маятника.
Вечная ночь сгладит
вечную боль памяти...

5

И был Бог предан, низвергнут в логово,

раздавлен бредом: Богу – Богово.

Сменила краски белил тоска.
Страна под маской. Страна пуста.

6

Дико.

7

Но в хатах холодных,
где пыль на ухватах,
где бабы голодные
детям не рады;
где боль
мужиков
жжёт и тревожит;
где голод ржаной
пострашней острожного, —
темною ночью
шепотом в ухе
сердце тревожат
смутные слухи.
И мужики
Исчезают в борах.

Ножики – вжик!
Умирает страх.

8

*И, к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: «Остри свой меч,
Чтоб не даром биться с татарвою,
За святое дело в землю лечь.*

А. Блок

И вот оно – первое. Без разбора.
Колота пиками, битая слепо,
через вопящие в небо заборы
с хрипом летит голова человека.

Синие сабли
плещутся, звякают,
кровью залиты
нежные злаки.

Злоба и скорбь.
Злоба – острей.

Тучей падучею —
стаи стрел.

Снова и снова.
Всё начато лишь.

Капельки олова.
Звёздная тишь.

9

Но звезды стекли каплями,
тишь над землей свеся.
Срезан кривой саблей
с небес голубой месяц.

Брат поучает брата:
«Чти боевых богов.
Мало врагам ада,
в оврагах губи врагов!»

Ордой вопящей, разгульной, —
«Алла!» —
(даже ветер сник),
разлив калмыков сутулых
разносит свирепый вскрик;

высверкав воздух наголо
саблями вкривь и вкось,
татары ведут набело
кроваво-алый покос;

вызверившись в оскале
приземистых лошадей,
выкаленную сталью
монголы берут людей...

И белою снежной лавой,
лавиной прямых мечей,

благословленных Лаврой
в чаду молитв и свечей,
струнами вытянув спины,
уши сведя к темени, —
брошены русские клинья
в хаос татарской темени...

10

А потом – тишина.
Стяги.
Луна
в овраге.

11

Каждый крест крив.
Каждый куст кос.
Тишина крапив,
и бурьянов лоск.

И звезда звезде
говорит в ночи:
«Остриём лучей
землю
выму —
чим.
Ведь следов ног
не сочтешь, нет».

И звезде Бог
Говорит в ответ:

«Будет вновь смех,
будет вновь соль, —
но сочти грех
и уйми боль».

12

И полями побоищ пустыми
ветер светлые новости носит,

и следит, как у павших стынут
на ресницах мертвые слезы.

На бурьянах бурые пятна
темной крови мертвых пришельцев.
Поднимаются травы мятые
в ясном свете простого месяца.

С поля брани бредут люди,
и костры разжигают на воле.
И соха ковыряет грубое,
напоённое кровью поле.

1960–1965>

Спор с дьяволом. Посвящения

I

* * *

О, я без вас
схожу с ума!
Моя судьба —
моя сума.
Но все, что есть
в моей суме,
принадлежит
уже не мне.
Я прихожу
и говорю:
«Я пригожусь,
пока горю,
я пригожусь,
пока горяч!»
А вы опять
в тишайший плач.
О, этот плач,
ваш женский плач!
Я был царем,
а стал палач.
И холод слов моих, что нож,
и правды в нас — на мелкий грош.
Но этот грош в такой цене!
Не разменять
ни вам,
ни мне.

* * *

Будет время, и березы
вспыхнут желтою листвою
над раскрашенной морозом
полосой береговой,
и к стволу прижавшись ухом,
ты услышишь, как Луна
шепчет ласково и глухо

прямо в ночь.

А ночь нежна.

Будет время, и на поле,
где горит, дымя, ботва,
прорастут глухие колья,
распустившись, как трава,
и навзрыд пойдут осины
голосить, что так влажна
эта осень под гусиным
косяком.

А ночь нежна.

Будет время, и над взрывом
веток, листьев и травы
ты не справишься с порывом
сумасшедшей головы.
И не плакать. Не смеяться.
только слушать. Тишина.
И губами вновь касаться
глаз как звезд.

А ночь нежна.

Иркутск. Выставка японской живописи

Темный ветер. Злая мгла.
Иероглифы на флаге, отблеск лунного стекла.

Сто прекрасных видов Эдо
не заменят никогда сей игры теней и света.

Бодхисатва Манжушри —
он глядит, Будда грядущий, не извне, а изнутри.

Ощущение вины
перед медленным течением потрясенной тишины.

Потеряю? Сберегу?
Что там выше? Чайный домик? На каком он берегу?

Кто там стынет на пороге?
Отчего тебя мне жаль, куртизанка Ханаоги?

Бронза – век мой золотой...

И опять мороз по коже:
этот век, конечно, *твой*,
не забудь, и *мой* он тоже!

Заметки на полях

Какая странная дорога,
как выполощен ветром куст.
Пейзаж безрадостен и пуст,
и все же он – пейзаж от Бога.

Какая странная судьба,
почти не знавшая пролога.
И все-таки она – от Бога,
и потому она – судьба.

Ты говоришь: люби меня,
ведь я дана тебе от Бога.
А за словами вновь дорога,
и до звезды как до порога,
а за порогом вновь звезда...

И это все опять от Бога.

* * *

Я знаю, что отныне так и будет:
с утра пожар, под вечер теплый дождь.
Осудят нас? – пускай. Нас не убудет.
Ведь истина пережигает ложь.

Мы вечны. Мы взломали наши клетки.
Мы – бег звезды. Мы – щедрый дар полям.

Нам яблоко судьба протянет с ветки,
мы и его поделим пополам.

* * *

Броди, смотри, как лезет лебеда,
как прут кусты подобием тарана.

Твоя любовь, конечно, не беда,
хотя порой она саднит, как рана.

Коснись рукой, под пальцем дрогнет синь,
ступи ногой и – глина, камень, трепел.

Твоя любовь, конечно, из святынь
и никогда не обратится в пепел.

Броди, смотри, как бьет в ключах вода,
как рвутся реки – кони разной масти.

Твоя любовь, конечно, не беда,
как все, что ветром выбито на насте.

* * *

Снег идет.
Снег идет.
Беспредельно, бесконечно, нежно, медленно и млечно,
вверх и вниз, легко и вечно —
снег идет.

Снег идет.
Снег идет.
Звездный дым. Седые крыши. Все светлей, нежней и тише,
все стремительней и выше —
снег идет.

Снег идет.
Снег идет.
Белым лбом прижавшись к раме, я теряюсь в этой драме:
где я? в поле? или в храме? —
снег идет.

Снег идет.
Снег идет.
Нежно, медленно, беспечно, беспредельно, бесконечно,
я люблю тебя, ты вечна.
Снег идет.

Бранденбургский концерт № 1

Опять этот кантор из церкви святого Фомы

терзает педали забытого Богом органа.

А в Лейпциге ночь. И тяжелые влажные сны
плывут над кварталами, будто обрывки тумана.

Ночь гаснет и гаснет. Будь звезды, как свечи, давно
по небу расползся бы матовый шлейф стеарина.

Саксонская ночь под готическим стынет окном
и черною кистью витраж покрывает рябина.

И движется ночь, как недели и годы, а мы
не можем понять, отчего это с гибелью схоже.

Храни же нас кантор из церкви святого Фомы,
и длись этот холод, так странно бегущий по коже.

Бранденбургский концерт № 4

Когда уже нечему больше случиться,
когда за окном ни звезды, ни просвета,
когда через ставни уже не пробиться
ни ветру, ни ливню, ни даже рассвету,
когда на столе засыхает посуда,
а сумерек даже огнем не прогонишь,
я жду тебя, кантор...

И вот оно – чудо! —
две флейты и скрипка
приходят на помощь.

Когда уже нечего больше услышать,
все сказано, спрошено, взято, забыто,
когда, как дожди по заржавленным крышам,
струится и плачет слепая обида,
когда даже память условна, как ссуда,
а боль ни словами, ни жестом не скроешь,
я жду тебя, кантор...

И вот оно – чудо! —
две флейты и скрипка
приходят на помощь.

Когда уже некому больше молиться,
когда ожидать нет ни веры, ни силы,
когда никуда от себя не укрыться,
а где-то настойчиво плачут клавиры,

и небо закрыто, и листья, как люди,
врываються в душу, и ты их не гонишь,
я жду тебя, кантор...

И вот оно – чудо! —
две флейты и скрипка
приходят на помощь.

Бранденбургский концерт № 3

Спит город Баха.
В темном старом доме
спят старые старушки, вещи, люстры,
все спит, все убаюкано дождем.

Спит ратуша, размокшая афиша,
спит мокрый дуб, к стене прижавшись тесно,
и спит орган, как айсберг на мели.

О, этот город замерших бульваров,
ночных, уснувших намертво базаров,
в листве опавшей, в сумерках дождя —
огромным неподвижным великаном,
уснувшим над наполненным стаканом,
он спит,
и разбудить его
нельзя.

Но музыка... Но музыка... Но жизнь...
Вдруг свет в окне, то вскрикнет где-то скрипка,
то звук шагов раздастся, то улыбка,
как лист, проснется...

Лебеди

В. Астафьеву

Я видел, как утром,
над серым болотом,
кочкарником,
марью,
оставив исследованный
красными лапами берег,
сентябрьскую тишь распугав
и привстав над водою,

одна за другой поднимались красивые птицы.

Тяжелые птицы,
красивые птицы —
обрывками пены,
обломками льдов,
голубым опереньем,
счастливым и белым,
они восходили над марью, над темным болотом,
а мы оставались, лишенные крыльев и пенья.

Когда-нибудь в поле,
а может, в машине,
а может, на водах
ударит по сердцу
то ль страх,
то ль провиденье смерти.
Так что же мы вспомним?
Любовь?
Удивление?
Удачу?
Высокое небо? Иль птиц, рассекающих небо?

Ах, кто это знает? И кто это может увидеть?
Пески осветились и канули в темную воду.
А лебеди машут,
и машут,
и машут крылами,
и их отраженья, сияя, плывут над болотом.

Доброе Начало

Есть бухта.
Это – Доброе Начало.
Высокое кольцо песчаных дюн,
вулкан Атсонупури – конус в небо,
базальтовый высокий перешеек,
аралией заросший, елью Глена
и можжевельником.

Там жить бы я хотел. Встречать восход.
Ходить с ружьем на дальние озера
и жечь костры, давая знать судам,
что мир еще повсюду обитаем.

А если бы касалась вдруг тоска
меня своими пальцами, я б молча

ходил туда, где брошенный поселок,
как черный иероглиф, распластался,
под небо вскинув сломанные балки.

Мне было б странно находить траву
или обрывки рыжих фотографий
среди руин, и в поисках живого
я б сотни километров проходил,
но снова
возвращался
к морю.

И, прост как звезды, трогал валуны,
похожие на нерп. Касался пены.
И знал, что я из тех, кто прочно верен
течению рек, звезде над головой,
и просто миру, вечному, как время.

* * *

С. Гольдину

Печаль полей. Высокие слова.
Три дерева. Неясная тревога.
Далекий оклик. Пыльная дорога.
Осенняя кипящая трава.
Пустынные пустые острова.
Неясный свет неясного пролога.

На отмелях крутые валуны.
Три водопада падают с обрыва.
Вода наката холодно игрива.
Не боль, а ощущение вины.
Рассветный пляж. Обрывки тишины.
И отмелей оранжевая грива.

За годом год. Даровано весло.
Но кем? Когда? Лежат сугробы снега.
След мамонта. А там и человека.
А там уже и Слово, и Число.
Откуда и куда меня несло?
Мой возраст превышает возраст века.

И все-таки, полкниги Бытия

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.